

А. Л. ЮРГАНОВ

**ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН ВИКТОРА ГЮГО «ОТВЕРЖЕННЫЕ»,
ИЛИ, ПОЧЕМУ ЭТОТ РОМАН НРАВИЛСЯ СЛАВЯНОФИЛУ
ФЕДОРУ ДОСТОЕВСКОМУ? РАЗМЫШЛЕНИЯ ИСТОРИКА-
РУСИСТА¹**

**VICTOR HUGO'S FRENCH NOVEL *LES MISÉRABLES*,
OR WHY DID THE SLAVOPHILE FYODOR DOSTOEVSKY
LIKE THIS NOVEL? REFLECTIONS OF A RUSSIAN HISTORIAN**

This article examines the philosophical problem of “Russia and Europe” in the context of the new realities of the global move towards uniting mankind, which cannot but be a problem for every cultural and historical community that has the right to remain itself. This process can be considered through the example of the convergence of two literary novels and their authors, Victor Hugo and Fyodor Dostoevsky: one, the author who created the nationally colored novel *Les Misérables*, and the other the author of the novel *The Idiot*, in which the problem of “Russia and Europe” has become one of the most important. The article examines how the logic of “connection” differs from the logic of “gathering”, both in literary works and in the global process of political cultural integration.

Keywords: Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, Victor Hugo, the novel “Les Misérables”, the novel “The Idiot”, globalization.

Andrei L. Yurganov – D.Sc. in History, professor, Russian State University for the Humanities.
E-mail: lurganov@yandex.ru

1 This study is a written version of a lecture given at a conference devoted to memory politics in Central and Eastern Europe and Russia held at ELTE on September 30th and October 1st, 2021.

Citation: A. L. YURGANOV, “Frantsuzskii roman Viktora Giugo “Otvverzhennye”, ili, pochemu etot roman nraivilsia slavianofilu Fedoru Dostoevskomu? Razmyshleniia istorikarusista [Victor Hugo’s French Novel *Les Misérables*, or Why Did the Slavophile Fyodor Dostoevsky Like This Novel? Reflections of a Russian historian], *RussianStudiesHu* 4, no. 2 (2022): 10 pp. DOI: 10.38210/RUSTUDH.2022.4.17.

Сегодня мир переживает драму *собираения человечества* во всечеловеческое – и этому процессу можно и нужно найти смысловой аналог: литературный, театральный. Роман «Отверженные» Виктора Гюго, вызывающий большой интерес у современного режиссера, готовящего его постановку на сцене московского театра «Современник», способен стать таким «большим текстом», отвечающим высшим запросам.

Но вот парадокс, – сам роман Гюго, – отражение национального духа Франции, французский национальный символ. Почему же он так нравился Льву Толстому и Федору Достоевскому, особенно последнему – ярому славянофилу?

Главный «злодей» в романе, Жавер, как это ни странно, выражает своим мышлением культурно-исторический дух Франции. Почему так? Потому что в основе самосознания Жавера – «законничество», самый традиционный элемент не только государства французского, но и французской революции тоже! И хотя Гюго не объясняет это сам, но история революций во Франции хорошо известна – помимо Гюго: революционное выступление 1832 г., описанное в романе, связано было с тем, что возникло общественное мнение (в среде республиканцев) о нарушении Луи-Филиппом Конституции 1830 г. ...

Ни Толстой, ни Достоевский не были склонны раздавать комплименты другим писателям. И уж тем более, не стали бы хвалить роман за то, что он хорошо выражает собой «французский дух». Толстой в свое время написал критическую статью о «Короле Лире» – и Шекспира не пожалел!

Достоевский не стал бы хвалить роман Гюго за ярко выраженную революционность, потому что он не был сторонником «баррикад», и к атеизму французскому – основе всех революций во Франции – относился очень враждебно. Что же тогда? Достоевский писал о романе:

«Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоко-нравственная, формула ее – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. Конечно, аллегория немислима в таком художественном произведении, как например «Notre-Dame de Paris». Но кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого

средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непечатых, бесконечных сил своих. Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи «восстановления» в литературе нашего века. По крайней мере он первый заявил эту идею с такой художественной силой в искусстве. Виктор Гюго бесспорно сильнейший талант, явившийся в девятнадцатом столетии во Франции»².

Обратимся к роману Достоевского «Идиот», опубликованному через шесть лет после романа Гюго, в 1868 г.

В романе содержится важное обстоятельство – князь Мышкин противопоставляет Россию и Запад, и говорит так, что во всей его речи слышится именно Достоевский. Это противопоставление может открыть нам окно в мир той симпатии, которую испытывал Достоевский к роману «Отверженные».

Князь Мышкин предлагает основу для сравнения в самом начале романа: страшный эпизод, когда человеку вот-вот отрежут голову на французской гильотине. Против чего протестует Достоевский? Против «законничества»!

Убийство за убийство: это закон, это приговор, сухой остаток, ничего личного. Так казнили короля Людовика XVI – по приговору суда. Разве это было сделано без закона? Нет! Никакого варварства. Что же беспокоило Достоевского? Князя Мышкина? Проблема «четверти секунды»!

Если Гюго утверждал в романе, что общество и государство, держа людей в нищете – именно по этой причине – не имеют права судить людей, то Достоевский шел гораздо дальше – он говорил о преступном законе, который лишает жизни человека, пусть даже совершившего тяжкое преступление. Эту концепцию князь Мышкин проговаривает дважды в романе.

«– Знаете ли что? – горячо подхватил князь, – вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна

2 Ф. Достоевский, *Собрание сочинений в пятнадцати томах* (Л.: «Наука», 1993). Т. 11: Публицистика 1860-х годов, с. 61.

мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или какнибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избежешь, вся ужасная то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя...».³

Такая постановка вопроса не может не удивлять: разбойник-убийца менее ужасен, чем карающая гильотина французского государства, не оставляющая никакой надежды, ибо это формальное основание

3 Ф. Достоевский, *Идиот* (М.: Издательство АСТ, 2017), с. 22–23.

приговора. В формальном законе нет правды – а значит нет ничего человеческого.

Сравним эту в высшей степени необычную мысль Достоевского с тем, как Гюго «строил» образ Жавера, пережившего большое разочарование в том, что человеческое в людях оказалось неожиданно выше формального закона... Жавер не вынес всей правды о «законе», ибо поклонялся ему, как верующий язычник поклоняется избранному фетишу. Гюго так описал минуты жизни Жавера перед тем, как он покончил с собой:

«Его удивляло, что Жан Вальжан оказал ему милость, и ужасало, что он, Жавер, в свою очередь помиловал Жана Вальжана.

Что с ним такое стало? Он искал прежнего самого себя и не находил.

Что теперь делать? Выдать Жана Вальжана нельзя, оставить Жана Вальжана на свободе тоже неправильно. В первом случае человек, облеченный доверием правительства, опускался еще ниже преступника, во втором – каторжник поднимался выше закона и попираал его ногой. В обоих случаях позор ложился неизгладимым пятном на Жавера. Какой ни сделать выбор, это все равно падение. Жизнь определяет границы, перешагнуть за которые невозможно, за этими крайними точками уже нет жизни: там бездна. Жавер как раз и стоял на одной из этих точек.

Больше всего его угнетало то, что он вынужден был думать. К этому побуждала его даже сама сила этих противоречивых ощущений. Он не привык думать, и это состояние было для него в высшей степени болезненным.

В процессе мышления всегда есть известная доля внутреннего сопротивления, и ему было досадно сознавать это.

Он всегда считал бесполезным и унижительным думать о чем бы то ни было, не входящем в узкую сферу его обязанностей, но думать, вспоминая истекший день, было для него и вовсе мучением. А между тем после таких потрясений все-таки надо было заглянуть в свою совесть и дать отчет самому себе о самом себе.

При одном воспоминании о том, что он сделал, его кидало в дрожь. Он, Жавер, признал справедливым вопреки всем полицейским правилам, вопреки закону отпустить Жана Вальжана на волю, он нашел, что так будет для него самого лучше, он поставил свои личные интересы выше долга: как назвать такой проступок?

Каждый раз, как он вспоминал о содеянном, которому он не мог подыскать даже подходящего названия, он весь вздрагивал. Как ему теперь быть? Оставалось только одно средство: вернуться как можно скорее на улицу Омм Армэ и снова арестовать Жана Вальжана. Очевидно, так именно и следовало поступить, но он не мог. Что-то его удерживало. Что же это такое? Что именно? Неужели на свете существует что-нибудь другое, кроме суда, приведения в исполнение приговоров, полиции и власти? Жавер был сбит с толку.

Каторжник, личность которого является священной! Каторжник, который избежит кары правосудия! И все это благодаря Жаверу! Разве не ужасно, что Жавер, созданный для того, чтобы карать, и Жан Вальжан, созданный для того, чтобы терпеть кару, разве не ужасно, чтобы оба этих человека, всецело подчиненные закону, дошли до того, что оба стали выше закона? Что же это такое, наконец! Совершаются такие чудовищные вещи, и никто не будет наказан! Жан Вальжан, более сильный, чем весь социальный строй, остается на свободе, а он, Жавер, будет продолжать есть хлеб правительства!

Эти мысли постепенно сводили его с ума...

Он говорил себе, что это так и должно быть, что бывают исключения, что власти могли ошибиться, что закон мог быть неправильно применен в данном конкретном случае, что все не может быть включено в свод законов, что возможны и такие неожиданности, с которыми нельзя не считаться, что добродетель каторжника могла поймать в сети добродетель чиновника, что этот необычайный человек и в самом деле мог быть таким необычайным, что судьба иногда ставит такие западни, и он с отчаянием думал, что ему уже не удастся уберечь себя, чтобы снова как-нибудь не попасться в такую же ловушку... Он был вынужден признать, что добро существует. Этот каторжник был добр. И он сам — удивительная вещь! — тоже только что совершил доброе дело...»⁴.

Мир сегодня пытается объединиться в единое человечество. Вопрос – на каких основаниях? Смысл «всечеловеческого» (понятие введенное и обоснованное российским философом А.В. Смирновым⁵) я вижу

4 В. Гюго, *Отверженные* (СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019), с. 647–651.

5 А. Смирнов, *Всечеловеческое vs. общечеловеческое* (М.: ООО «Сандра»: Издательский Дом ЯСК, 2019).

в противопоставлении двух основных логических процедур, не имеющих контекстуальных оснований, но действующих, как таблица умножения: либо люди *соединяются* – это одна логика, либо они *собираются* – это другая логика. Разница велика и даже абсолютна: *соединяются* в организацию (партийную или иную), *собираются* в человечестве (оставаясь изначально разными).

Вечный вопрос о России и Европе, о притяжении и отталкивании, по-прежнему в центре внимания.

Роман Виктора Гюго задел Федора Достоевского не только изображением униженных и оскорбленных, но прежде всего – «русской» постановкой вопроса о «правде» (или о «восстановлении человека»), которая может быть выше «закона» ... Французская национальная культура создала культ «законничества», против которого и был написан роман Гюго, социальный роман-протест против несправедливости. Дух Франции, французских революций XIX столетия, выражает не Жан Вальжан, а отрицательный персонаж романа – Жавер, ибо ни одна революция после Великой Французской, не проходила без апелляции к «закону», который выше любого монарха.

Гюго показал впервые, что «законничеству» (особенно после принятия Кодекса Наполеона) не хватает социальной правды жизни. Достоевский хвалил роман за стремление к «правде», поскольку в русской традиции не было никогда духа формального «законничества».

Если взглянуть на русскую средневековую историю, то можно увидеть в ней господство обычного права и только корректирующее значение всяких «правд», судебных, которые лишь уточняли и дополняли не оговариваемое в письменном виде обычное право. Русский мыслитель Федор Карпов выразил это состояние отсутствующего в правовой традиции формального «законничества» таким афоризмом:

«Милость без правды малодушество есть,
а правда без милости мучительство,
и обе они разрушают царство
и всякое общежитие.
Но милость, правдой поддерживаемая,
а правда, милостью укрощаемая, сохраняют царю царство
на многие дни».

Ну чем Федор Карпов не Достоевский XVI в.? Русская традиция – это традиция саморегулирующихся понятий, а не завершенных юридических формул, как во Франции, где синтез варварских правд и римского права породил уникальную историческую традицию.

«Русская цивилизация» – по словам князя Мышкина – это все то, что против принципа законного насилия на Западе! И тут – Достоевский и Гюго в некотором смысле совпадают.

Роман «Отверженные» – роман отчасти исторический, ретроспективный, т. к. закончен был в 1862 г., а события, в нем описанные, охватывают в основном период 20-30-х гг. Роман написан человеком, пережившим гораздо более кровавую революцию 1848 г., лишившийся дома, написавшим массу манифестов с призывами прекратить кровопролитие, во многом поспособствовавшим избранию Луи Наполеона президентом Второй республики. Он ненавидел Луи Бонапарта, уехал из Франции надолго, но во время революции ходил по баррикадам и уговаривал прекратить кровопролитие. Вот поэтому он изобразил «жертвенную революцию» 1832 г., а не кровавую 1848 г.

Гюго был против государства богатых, но он был и против насилия со стороны бедных. Он был, как настоящий француз – за закон, но против насилия! Образ Жана Вальжана, не ставшего революционером, чуждого всякого осмысленного бунтарства, но также чуждого и духу Жавера, духу французского законничества, свидетельствует о своеобразном юродстве главного героя, который утверждает *то, чего нет* как в реальности бунтующей Франции, так и в реальности Жаверовской Франции – духа примиряющей любви друг к другу. Жан Вальжан не соединяется ни с кем, ни с революцией, ни с государством, он пытается собрать людей в примирении между собой!

Правда человека, человеческого достоинства – выше буквы закона: эта область затронута была Гюго (в социальном аспекте), и не могла не понравиться великому русскому писателю (в метафизическом аспекте).

Самая глубокая связь двух писателей – в той области, где Вальжан защищает Козетту. Защищает фанатично – не просто преданно, а отдавая всего себя, жертвуя собой полностью и без остатка! Как-то по-юродски! С безумством...

Тема ребенка, детства была очень близка автору романа «Идиот», ибо юродство князя Мышкина покоилось на утверждении Достоевского (в самом романе), что настоящее единение людей достигается дет-

ским сознанием. Князя называют не только юродивым, но и «совершенным ребенком»! Он как ребенок обнаруживает невиданную силу в простоте общения, и эта ясность сознания обезоруживает опытейших интриганов, потому что князь не стыдится того, чего стыдится взрослый, он смеется залиvisto как ребенок, когда другие смеются над ним.

Миру взрослых, где не может жить князь, противопоставлен через его образ мир детей, в котором царствует простота и искренность. Если во французском романе – социальная защита ребенка *предельная грань* отношений с детством, то для русского сознания, которое концептуально выразил Достоевский – детское сознание и есть райское состояние человечества, объединяющее человечество – но и недостижимое, как утраченный рай.

Бесхитрость и простота Вальжана в социальном мире, и бесхитрость и простота князя Мышкина в мире взрослых – явления рядоположенные.

Итак, вне-«законническая» эстетика Достоевского, воспроизводящая славянофильский дух писателя, утверждала область истинно человеческого в том, что было Правдой метафизической – что выше Закона земного; Гюго образом Вальжана тоже утверждал, но в границах мира социального, не метафизического, право человека *на неподсудность*, если под судом оказывается социальная справедливость. Вот эта область неподсудно Человеческого, а не «законнического», и является парадоксальным рецептом собирания людей в человечестве.

Скоро Достоевский поймет, что Правда человеческая может оказаться не только правдой детства, как у князя Мышкина, но и социальной правды бесов (1871), и тогда отрешенный от правды Закон покажет свою утраченную силу – в восстановлении всечеловеческой правды. Гюго не откажется от романтизма, но сильно разочаруется в способности революции принести людям социальное счастье.

Притяжение и отталкивание России и Западной Европы – в том, что как одним, так и другим не хватало и не хватает дополнения – либо правды к закону, либо закона – к правде. Объединение людей в новое человечество невысказимо без признания *разных моделей* культурно-исторического опыта как опыта не единственного (в логике соединения), а всегда дополняющего (в логике собирания).

Только так мир может преодолеть страсть к фобиям.

References

F. Dostoevskii, *Idiot* [The Idiot] (Moskva: Izdatel'stvo AST, 2017).

F. Dostoevskii, *Sobranie sochinenii v piatnadsati tomakh* [Collected Works in Fifteen Volumes] (Moskva: «Nauka», 1993).

V. Gugo, *Otverzhennyye* [The Outcasts] (Sankt-Peterburg: Azbuka, 2019).

V. Smirnov, *Vsechelovecheskoe vs. obshchechelovecheskoe* [The All – Human vs. the Universal] (Moskva: «Sandra», 2019).